

*Посвящается моей семье, всем людям из Боро,
а также Огри Вернон, лучшей аккордеонистке,
которую знали наши потрескавшиеся улицы*

Прелюдия

НЕОКОНЧЕННЫЙ ТРУД

Альме Уоррен, пяти лет от роду, казалось, что они, похоже, ходили за покупками — она, ее брат Майкл в коляске и их мамка Дорин. Наверное, они были в «Вулворте». Не в том, который на Золотой улице, нижнем «Вулворте», а в верхнем, на полпути по склону освещенной витринами Абингтонской улицы, где еще есть кафе с мятно-зеленой плиткой и огромный циферблат весов успокаивающего красного цвета, как у магнита, которые стояли у деревянной лестницы в дальнем конце.

Девочка — маленькая крепышка, плотная, словно отлитая под давлением, — не помнила, чтобы придерживала перед Дорин двойные створки захватанных латунно-стеклянных дверей, пока та выкатывала коляску в бархатную суету светящейся снаружи главной улицы. Альма пыталась восстановить в памяти хоть какую-нибудь приметку, которую могла увидеть на этом проторенном маршруте, — возможно, горящий знак, торчащий над магазином дождевиков Кендалла на углу Рыбной улицы, где «К» отважно шагала против шквалистого ветра, раскрыв мультяшный зонтик в вытянутой руке-палке без ладони, — но ничего не шло на ум. Более того, если задуматься, Альма не помнила о походе практически ничего. Все до освещенной фонарями мостовой, на которой она теперь оказалась и шагала под скрип коляски Майкла и ритмичный цокот каблучков матери, — все скрывал таинственный туман.

Спрятав подбородок от вездесущей закатной прохлады в застегнутый воротник макинтоша, Альма разглядывала поблескивающие камни, мерно ложившиеся под гипнотизирующие шаги тупоносых башмаков с пряжкой. Ей казалось, что самое вероятное объяснение провала в воспоминаниях — это обыкновенная рассеянность. Вероятнее всего, в течение всей скучной вылазки она витала в облаках, и, хотя видела все знакомые места, не обращала на них внимания, ее увлекло ленивое течение

собственных мыслей, омут фантазий и сора, что баламутился между болтающихся косичек, под заколками-бабочками поблекшего розового цвета и хрупкими, как карболка. Практически каждый день она выходила из транса, вырывалась из кокона замыслов и воспоминаний и понимала, что оказалась уже в нескольких террасах¹ от последнего места, которое заметила, так что отсутствие памятных деталей нынешней прогулки по магазинам отнюдь не было поводом для беспокойства.

Абингтонская улица, думала она, — вот самый подходящий вариант для стартовой точки, именно поэтому теперь они держат путь вдоль южного края опустевшей Рыночной площади к переулку по соседству с «Осборном», откуда дальше начнут взбираться по Швецам, толкая Майкла мимо кирпичного блока Рыбного рынка с его морским запахом и высокими завешанными пылью окнами, затем скатятся под горку по Серебряной улице, перейдут площадь Мэйорхолд и попадут напрямик в Боро — родной дом среди скособоченных переплетений узких проходов.

Каким бы успокаивающим ни казалось Альме это объяснение, ее по-прежнему снедало ощущение, что в рассуждениях что-то не сходится. Если они только что вышли из «Вулворта», значит, сейчас не может быть позже пяти часов, когда все магазины в городском центре еще открыты, — так почему же в Рынке не горит ни одно окно? Не сочтется бледно-зеленоватое свечение из пасти ворот в пассаже «Эмпорий», что находится в верхней половине наклонной площади, черным-черна витрина «Липтона» на ее западной границе — без обычного тепла цвета сырной корки. Если на то пошло, разве не должны рыночные торговцы прямо сейчас убирать свои товары, закрывать на ночь лотки, весело переключаться, пиная испорченные фрукты или папиросную бумагу, складывать столики, чтобы забросить их с оглушительным дребезгом и лязгом в угловатые фырчащие фургоны, напоминающие кареты скорой помощи, кузова которых звенят, словно гонги, с каждой новой порцией груза?

Но нет никого на широком пространстве, уходил в пустую темноту открытый ветрам склон. Лишь торчали из гусиной кожи влажной брусчатки покосившиеся столбы, разделяющие отсутствующие лотки, — промокшие оглобли, пожеванные с одного конца, как карандаши, и вкопанные с другого в ржавые дыры меж горбатых булыжников площади. Остался всего один растрепанный навес — слишком жалкая добыча для вора, — время от времени влажно шлепающий осиротелым крылом поверх тихого полусонного бормотания ветра, и этот звук резко отражался

¹ *Терраса* — распространенное англоязычное название блокированной застройки, при которой малозэтажные дома стоят стена к стене и занимают целую сторону улицы. (Здесь и далее прим. пер.)

от высоких зданий, стеной окружающих площадь. В ее центре, черный на сажисто-сером, воззлся в помойную лужу ночи железный памятник — ажурный викторианский стебель, что расцветает фестончатым бутоном, увенчанным медным шаром, словно какой-то доисторический чудовищный цветок, одинокий и окаменевший. У его ступенчатого постамента, как знала Альма, из щелей и трещин упорно пробивались незаметные клочки изумрудной травы — наверное, не считая матери, брата и ее самой, тем вечером единственные живые существа на площади, хоть она их и не видела.

Где же остальные матери, волочащие детей по сияющим и зазывным озерцам у витрин по пути домой, к чаю? Где же уставшие мужчины с несчастными лицами, которые поодиночке плелись от фабрик, держа одну руку в пустом кармане синих брюк, а в другой — потертую лямку наплечного вещмешка? Над черепичными крышами, нависшими над площадью, не виднелось ни жемчужной ауры подбрюшья черного неба, ни белых электрических лучей, льющихся от изящного фасада «Гамона», словно бы весь Нортгемптон разом выключили, словно бы наступила полночь. Но что Альма и ее брат с матерью делали здесь в такой поздний час, когда магазины закрыты, а вытянутые стеклянные глаза их запертых дверей становятся недружелюбными, холодными, отсутствующими, как будто они тебя не признают, не желают видеть?

Семена вслед за мамкой, вцепившись жаркой ладошкой в прохладную металлическую ручку коляски и не поспевая, так что Дорин приходилось волочить ее за собой, Альма уже начинала волноваться. Ведь если все не так, разве не может случиться что угодно? Бросив взгляд на полускрытый шарфом профиль матери, Альма не увидела и следа беспокойства в добрых, чутких голубых глазах, прикованных к мостовой, или в безропотной линии, в которой сомкнулись ее розовые губы. Если есть повод бояться, если они в беде — кому знать, как не мамке? Но что, если рядом таится что-то ужасное — призрак, или медведь, или убийца, — а матери никто не сказал? Что, если оно их поймает? Кусая нижнюю губу, Альма снова попыталась вспомнить, где они втроем были перед тем, как выйти на жуткую мощеную площадь.

В тених, лужей разлившихся в южной части рынка, грузная девочка с облегчением заметила, что в безлюдном мраке все же горит хотя бы один огонек — прямоугольник снежного света, который падал из большого окна газетной лавки на углу Барабанного переулка, изгибаясь на вытертых желтеющих камнях улицы. Словно уловив нарастающие дурные предчувствия дочери, мать Альмы взглянула на нее и улыбнулась, кивая на витрину лавки — теперь та находилась не более чем на расстоянии трех колясок.

— Глянь. Свято место пусто не бывает, кто-т ищо работает, а?

Альма кивнула, обрадованная и успокоенная, а в скрипящей коляске одобрительно пнул изножье Майкл, качая головой с золотистыми кудрями, совсем как у мальчика с картины «Мыльные пузыри»¹. Поравнявшись с лавкой, малышка заглянула через высокие чистые стекла в сияние необставленного помещения, где, похоже, вовсю кипела работа — в ночные часы корпели над ремонтом плотники, видимо, не желая в обычные часы прерывать торговлю. За ко́злами на голом новеньком паркете трудились четверо или пятеро, стучали и тесали под голой лампочкой, и Альма заметила, что они стояли босыми в опилках и стружке, похожей на тонкие завитки масла. Плотники что, не боятся заноз? На всех были простые белые балахоны, доходившие до щиколоток. У всех — коротко подстриженные ногти, гладкая кожа — лучисто-чистая, словно они только что вышли из хорошей бани, а на влажных плечах еще лежала корочка лавандового талька в форме континентов. Все рабочие казались строгими и сильными, но не злыми, а волосы у многих, склонивших головы во время нелегкого и шумного занятия, опускались до самых плеч стиранных роб.

Один из артели стоял в стороне от своих четырех коллег, наблюдая за их работой. Альма решила, что он главный. В отличие от остальных, его робу венчал капюшон, скрывавший все лицо над носом. Волос не было видно, но почему-то Альма не сомневалась, что они темнее и короче, чем у его товарищей, а затылок под складками сизого капюшона выстрижен почти под ноль. Он был чисто выбрит, как и остальные, по-мужски красив, судя по чертам, что она разглядела в чернильной тени капюшона, заполняющей глазницы и прячущей глаза под призрачной маской грабителя. Словно почувствовав взгляд ребенка из-за стекла, мужчина обратил улыбку в их сторону, буднично подняв руку в приветствии, и с замиранием сердца, не веря своим глазам, Альма поняла, кто это такой.

Размеренный скрип коляски и звенящие пистонные выстрелы каблучков матери замедлились и остановились, когда Дорин тоже взглянула в освещенное окно на ночных работников и их бригадира в капюшоне.

— Вот те номер. Гляди-к, детки, Фрит-Бор с евойными англами.

«Англы», наверное, выражение из Боро, так плотников или белодеверщиков зовут, подумала Альма, но другое имя было ей незнакомо, и она озадаченно нахмурилась, глядя в нежные смеющиеся глаза Дорин — словно мамка решила, что Альма туго мыслит и в ее возрасте должна бы уже знать, что значит «Фрит-Бор».

¹ Картина Джона Эверетта Милле, получившая в Англии известность благодаря тому, что ее задействовали в рекламе мыла Pears.

Дорин легонько цокнула языком.

— И, што за стих на тя нашел. Этш Фрит-Бор. Третий Бора то бишь. Скок раз я об нем грила, да лутше раз самой увидать.

Альма действительно слышала о Третьем Боро — или, по крайней мере, так ей казалось. Эти два слова так и дразнили память, и она поняла, что это имя носил тот, кого она узнала в тот же миг, когда он помахал ей, — так плотника называли, когда не хотели упоминать другое его имя. Третий Боро¹, если она поняла правильно, означало что-то наподобие «сборщика податей» или «урядника», только с бóльшим дружелюбием и уважением, куда величественней, чем даже Рыжий граф — граф Спенсер, болтающийся на вывеске одного паба. Она перевела взгляд с матери на диораму частично перестроенной газетной лавки, людей за честным трудом, залитых сиянием, — из-за витрины, похожей на стекло аквариума, казалось, словно стройка велась в теплой и светящейся воде. Человек в капюшоне, Третий Боро, все еще улыбался Дорин и ее детям, но уже не махал, а манил, приглашая войти.

Мамка со скрипом развернула на четверть оборота коляску на тротуаре, обрамляющем затихший заброшенный рынок, и направила Майкла в стеклянную дверь лавки, вкатив по пандусу с мозаикой из исхоженных бежевых и бирюзовых стекляшек между дверным проемом и скользкой улицей. Все еще держась пухлой ручкой за коляску и волочась вслед за матерью, Альма, неуверенно шаркая, замедлила шаг. Она где-то слышала или у нее откуда-то создалось впечатление, что такой аудиенции удостоиваются только те, кто умер — она еще не до конца понимала, что такое смерть, но знала, что ей бы она не понравилась. Один из работников с ниспадающими локонами — такими светлыми, едва ли не белыми, — теперь отложил пилу и подошел придержать дверь, а в уголках его глаз возникли добродушные морщинки. Заметив нерешительность девочки, мать обернулась и заговорила ободряющим тоном:

— Ох и нюня ты, Альма, ей-ей. Он тя не укусит, а с людьми редко када видается. Заглянь поздоровкаться, а то примет за невеж.

Наклоненной головой с коричневыми кудряшками от бигуди под краешком черного шарфа и напористо оттопырившимся бортом зимнего пальто на полном бюсте Дорин чем-то напоминала Альме голубей: их беззаботное спокойствие, их разноцветные рябые шейки, воркующую музыку их голосов. Альма вспомнила, как однажды ей

¹ Фрит-Бор, или Frith-Borh, — староанглийское понятие раннего средневековья, предшествовавшее «круговой поруке» и обозначавшее как уклад для сохранения законности и порядка, так и тех, кто следил за его соблюдением и сбором дани. «Frith» — многоохватное понятие, которое переводится как «мир», «благополучие», «стабильность общества», а «Borh» — как «клятва», «приверженность».

приснилось, что они с матерью были в их гостиной на дороге Андрея, на западной границе Боро. Во сне Дорин гладила, а ее дочка сидела на коленях в мягком кресле, рассеянно сосала протертую ткань спинки и глазела в сумерки на заднем дворе за окном. Над забором со стороны соседей проступала заброшенная конюшня с черными дырками, словно вымаранными словами в секретных документах, там, где в крыше не хватало черепицы. В дырки взлетали и садились трепещущие голубиные силуэты, почти невидимые — бледные завитки дыма на фоне темноты холма со школой, что высился позади. Мамка обернулась к Альме от гладильной доски и торжественно сказала о птицах, искавших ночлег.

— Они — куда уходят мертвые.

Девочка проснулась раньше, чем успела спросить, что это значит: то ли голуби — призраки людей, человеческие души, которые принимают такой вид после смерти, то ли они каким-то образом одновременно существуют на небесах, куда уходят мертвые, и среди стропил обветшавшего сарая в соседском дворе. Она понятия не имела, почему этот сон пришел на ум именно сейчас, когда она следовала за Майклом и матерью из ночи в омытую светом лавку через дверь, которую терпеливо придерживал сребровласый столяр, облаченный в халат.

Лавка, куда вели два входа — с рынка и за углом, с Барабанного переулка, внутри была просторнее, чем ожидала Альма, — хотя девочка поняла, что отчасти так казалось потому, что здесь не было полок для газет, кассы или стоек; ни единого покупателя. Помещение наполняло благоухание свежеструганого дерева — что-то среднее между ароматами консервированного персика и табака, — новенький паркет под ногами был приятно упругим, как охотничий лук, в углах скопились невыметенные опилки. Стоило женщине, девочке и младенцу ступить внутрь, как бело-волосый мастерской, придерживавший дверь, отправился к недопиленной доске, но, прежде чем вернуться к прерванному занятию, улыбнулся Альме и ее брату с озорной лукавинкой, словно они все вместе участвовали в какой-то секретной, но чудесной игре.

Не зная, каким выражением на это ответить, Альма скорчила вялую гримасу, которая не говорила ни о чем, затем оглянулась на Майкла. Тот воодушевленно выпрямился в коляске, растягивая пожеванные ремни безопасности — те самые, которые несколько лет назад берегли Альму: из красной кожи, с шелушащимся и расколупанным позолоченным узором в виде головы коня, что постепенно исчезал из виду. Майкл заливался довольным смехом, поднимая руки, смыкая и размыкая пальчики, словно старался ухватить молочный свет, воздух, щекочущую рождественскую атмосферу этого необычного мгновения в уголке страшноватой полуноч-

ной площади, словно хотел поймать это все, затолкать в ротик и слопать. Его огромная голова с профилем мальчика с мыла «Фейри Соуп» запрокидывалась назад, он подпрыгивал, озирался, моргал и гугукал с тем удовольствием, из-за которого сестра втайне считала, что, даже для двухлетнего, Майкл — довольно поверхностный ребенок, слишком увлеченный простыми радостями, чтобы относиться к жизни всерьез. Позади него, за витриной лавки, стояла сплошная тьма — рынок исчез, пропало все, кроме их слабых отражений, висящих в темноте, будто магазин газет и журналов остался один-одинешенек и летел в пучинах космоса. Над ее головой, где-то у штукатурки высокого потолка, раздались взрослые голоса — мамка благодарила человека в капюшоне за то, что он пригласил их войти и разрешил представить его детям.

— Эт архаровец в коляске — Майкл, а эт Альма. Она у нас в школу ходит, да, в Ручейном переулке. Не стой столбом, поздоровайся с Трёшным Борой.

Альма застенчиво подняла взгляд к Третьему Боро, выдавив неслышное «Здравствуйте». Вблизи он казался постарше матери — наверное, лет тридцати. В отличие от остальных работников, белых, как церковный мрамор, он был куда смуглее — коричневый от тяжелой работы под солнцем. А может, он родом из каких-нибудь жарких и далеких краев, вроде Палестины — страны, о которой пели старшеклассники в школьном актовом зале, куда ходили на утренние молитвы, а тот находился всего в трех каменных ступенях от детской раздевалки первогодки Альмы, где крючки обозначались паровозиками, воздушными змеями и котиками, а не именами мальчиков и девочек. «Квинквиремы Ниневии и далекого Офира...»¹ — так начиналась песня, с названиями и словами, такими красивыми, печальными и давно ушедшими.

Третий Боро присел на корточки к Альме, с той же доброй улыбкой, и она почувствовала запах его кожи — немножко похожий на тост с мускатным орехом. Увидела ковбойскую ямочку на подбородке, будто кто-то бросил в него дротиком, но глаз в ленте тени от заостренного края капюшона разглядеть по-прежнему не могла. Позже Альма не могла вспомнить, каким был его голос, двигались ли губы, когда он к ней обратился. Только в одном она была уверена — это был мужской голос, глубокий и искренний, и звучал он не аристократически, но в то же время без неряшливых кухонных акцентов Боро. Скорее, вспоминался голос диктора по радио, и она его словно не слышала ушами, а чувствовала нутром, теплый и уютный, как воскресный ужин. *Здравствуй, малышка Альма. Ты знаешь, кто я такой?*

¹ Стихотворение Джона Мейсфилда «Грузы» (Cargoes, 1902).

Альма вздрогнула, ее мысли вдруг наполнились громом, звездами и нагими плачущими людьми. Слишком стесняясь назвать по имени, но желая дать ему понять, что узнала его, она попыталась напеть первый куплет песни «Все яркое и прекрасное»¹, которая всегда напоминала ей о маргаритках, надеясь, что он поймет ее неуклюжую робкую шутку и не рассердится. Его улыбка стала чуть шире, и Альма с облегчением поняла, что он разгадал ее намерение. Все еще на корточках, мужчина в робе на миг повернул покрытую голову, чтобы изучить Майкла, прежде чем протянуть бронзовую от солнца руку и пригладить золотые пружинки младенческих волос. Ее братик захлопал в ладоши и захихикал, довольно лопоча, как попугайчик, и Третий Боро разогнулся и поднялся во весь рост, чтобы продолжить беседу с мамкой.

Вполуха слушая взрослый разговор над головой, Альма празднично разглядывала лавку и четверых работников, орудующих молотками, рубанками и пилами. Несмотря на одинаковые белые халаты и стрижки одного фасона, между собой они похожи не были — у одного посередине лба торчала большая родинка, тогда как другой был темный, с ежиком на голове и каким-то заморским видом, — и все же казалось, что они из одной семьи, братья или хотя бы близкие родственники. Ей стало интересно, из чего сделаны их халаты. Материал был простым и прочным, как хлопок, но мягким на вид, с синими, как лед, тенями в складках, — так что, наверное, дороже хлопка. Должно быть, такие рабочие фартуки носят старшие плотники, или «англы», рассудила Альма, и насилу припомнила то ли название ткани, то ли название фирмы, которое когда-то слышала. «Анчар» или «Бахча»? Что-то в этом духе.

Дорин обходительно беседовала со старшиной в капюшоне и время от времени вежливо поддакивала — Альма вспомнила те случаи, когда пыталась объяснять ей самые сложные свои рисунки, и поняла, что мамка на самом деле не имеет ни малейшего представления, о чем ей толкуют, но не хотела никого обидеть или показаться равнодушной. Наверное, она, между прочим, поинтересовалась у Третьего Боро, как продвигается работа, решила Альма, и во время ответа была поневоле вынуждена стоять и подавать уместные — как надеялась Дорин — междометия удивления, одобрения или озабоченности. Как и во многих других разговорах между старшими, Альма улавливала суть только отдаленно, и то сомневалась, правильно или нет. Странные обороты и случайные выражения закреплялись в сознании, из них получалась вешалка с ненадежными крючками, на которые Альма накидывала приблизительные нити связей, соединяя один факт с другим в полотне домыслов и откровенных

¹ Псалом Сесила Александра All things bright and beautiful, 1848.

гаданий, пока либо не получала пунктирное представление о подслушанном, либо не забивала голову запутанными и абсурдными недоразумениями, в которые впоследствии верила еще долгие годы.

В этом случае, стоя и слушая аккомпанемент матери — без слов и разной тональности — к монологу Третьего Боро, она пробиралась между шаткими валунами взрослой речи и изо всех сил старалась представить общую картину происходящего — одну из своих диорам цветными мелками, но в голове, где все разрозненные части встали бы в сколько-то разумительном порядке. По догадке Альмы, мать спросила, что здесь строят, и, судя по ответу, плотники готовили нечто под названием Портимот ди Норан — Альма знала, что никогда прежде не слышала этих слов, но в то же время звучали они так верно, словно она знала их всю жизнь. Это же какой-то суд, этот Портимот ди Норан, да? Где разберут все прения, и каждый получит по заслугам? Хотя в данном случае Альме казалось, что Третий Боро имел в виду что-то из столярничества, словно «Портимот ди Норан» — название какого-то замысловатого стыка. Говорилось, что в нем совокуплялись поднимающиеся линии — Альме показалось, это значит, что линии «сходятся», и потому она представила осьминожье соединение, как, наверное, в деревянном куполе церкви, где в середине одним ловким узлом связываются все изогнутые лакированные балки. Почему-то ей показалось, что в самом сердце постройки, в обрамлении из полированного палисандра будет заложен крест из грубого камня.

Словно в подтверждение такой трактовки Третий Боро теперь говорил, как хорошо, что здесь, в центре, есть столько дубов, которые выдержат распределяющиеся вес и напряжение. С этими словами он положил бронзовую руку на плечо Дорин, из-за чего реплика показалась Альме двусмысленной. Он говорил о дубах, что усеивали городские луга, или же делал Дорин какой-то комплимент, подразумевая, что их мать — дуб, древесный столп, который безропотно понесет на себе любые тяготы? Маме так или иначе слова пришились по душе — она стыдливо сложила губки и хмыкнула, словно ей было смешно от самой мысли, что она достойна такой похвалы.

Человек в кашюшоне убрал ладонь с рукава Дорин, продолжая объяснять, что начинание под его руководством необходимо воплотить к определенному времени, и потому работникам приходилось работать не покладая рук день и ночь, чтобы закончить подряд. Альме это показалось нелогичным. Она была уверена, что предприятие Третьего Боро — одно из самых многолетних в городе, старше компаний с участками на Медвежьей улице, с разохшимися воротами, которые ведут в таинственные дворы причудливых форм и на облезавших табличках над ними все еще можно различить имена былых владельцев. Некоторые пабы, говорил